

## Бабушка

Бабушка собралась в поликлинику. Её уже давно мучила одышка. Несколько раз обследовали в стационаре, наконец поставили диагноз: ИБС — ишемическая болезнь сердца, — и отпустили с миром. С одышкой легла в больницу — с одышкой вернулась. Ничем ей не помогли, если не считать диагноза. Ну а диагноз — не лечение. Таблетки, что ей прописали при выписке, были — мёртвому припарки. Получала она их по льготе, но если бы ещё помогали...

И вот она собралась в поликлинику, к участковому врачу, узнать: нельзя ли назначить такое лечение, которое бы помогло? И на всякий случай узнать: а может, никакая не ИБС у неё («ишемическая болезнь») бабушка выговорить, хоть убей, не могла, получалась какая-то «и...мическая»), а астма?

Стояла затяжная весна — холодная, хотя без дождей. Бабушка оделась тепло: на ноги — чуни, которые ей купила внучка, на себя — старое, «сезонное», как она называла, пальто, повязалась платком, в руку — старую свою палку, и пошла. Палка эта досталась ей от отца, тому — от его отца, её деда. Была она деревянная, суковатая, струганная и ошкуренная, покрытая тёмным лаком. Обычный сук, крепкий и надёжный, как всё старое.

Внучкина квартира, в которой теперь вместе с внучкой жила бабушка, была на первом этаже. Пять ступенек вниз, потом ещё три — с крыльца. Она спустилась, опираясь на палку, медленно пошла по улице, бережно лелея свою одышку. Поликлиника находилась в трёх кварталах, надо было идти немного в гору, эта гора для неё и служила настоящим подвигом. Одолела. Совершила подвиг. Она постояла на светофоре, отдышалась. Горел зелёный, но она не торопилась, отдыхала. Перешла улицу, потом ещё одну — под прямым углом. Вот и поликлиника. Когда-то в этом доме располагался ружейный магазин, держал его один француз. Ничем не был магазин знаменит, кроме одного: здесь, отправляясь в царскую ссылку в Шушенское, мировой вождь покупал себе ружьё и припасы для охоты. Такая выпала ему ссылка.

На двери главного входа была прилеплена бумажка, на ней — печатными буквами: «Вход в поликлинику», — и стрелка налево. В поликлинике делали ремонт. Бабушка вздохнула, обошла здание, зашла с чёрного входа. Там на стене тоже висела

бумажка — стрелка показывала вверх: «В регистратуру через 3 этаж». Бабушка немного посидела на стуле — позаботилась администрация, стулья поставила, — снова вздохнула и, опираясь на палку и цепляясь за поручень, стала подниматься. Заняло это много времени, она останавливалась через каждые три ступеньки, отдыхала на всех площадках, но сердце всё равно стучало неровно. Наконец поднялась на третий этаж. И снова увидела табличку: «Регистратура — 2 этаж». Надо было пройти по всему замысловатому коридору, по широкой лестнице в два пролёта спуститься на второй этаж, постоять в очереди в окошко, взять карточку и талон — и вернуться назад. Нужный кабинет находился на третьем.

Она испугалась: если спустится — уже не поднимется обратно. «Вот ведь пропасть... Знала бы, что ремонт, — не пошла бы. Что ж теперь — возвращаться?» Она подошла к кабинету участкового терапевта. Три человека сидели, ждали своей очереди. У всех были талончики с указанным временем. Бабушка заискивающе спросила: «Все сюда?» Ей не ответили, только посмотрели выразительно: куда ж ещё? Кабинет-то один. Самая молодая не выдержала, кивнула:

— Сюда, бабушка. А у вас талон на какое время?

— Да нет у меня талона...

— Так ты, бабуля, сперва пойдёшь в регистратуру да возьми талон, а потом спрашивай, — раздражённо сказал пожилой мужчина в спортивном костюме. — Без талона кто тебя примет-то?

Третья пациентка, женщина средних лет, не повернула головы, говорила по телефону.

Бабушка снова, в который уж раз, вздохнула. — Если спущусь — обратно не поднимусь. Одышка, — пояснила она безнадежно и собралась уходить.

Девушка внезапно сжалась:

— Ладно, бабушка, я тут вроде крайняя самая, идите передо мной.

— Спасибо, внучка, — бабушка благодарно посмотрела на неё, села на свободный стул.

Участковая была новая, принимала долго, время в талонах никак не отвечало тому, что она трагично на каждого больного. «Видать, основная, не просто так: „Откройте рот, закройте

рот, дышите—не дышите“. Старая-то— всё по расписанию, и посмотреть толком не успеет, а уже кричит следующего»,— думала бабушка про себя. Наконец очередь дошла. Девушка еще раз кивнула: — Идите-идите! Только недолго, а то мне на работу надо вернуться.

— Я скоро, только лекарство спрошу,— заторопилась бабушка.

Она зашла, поздоровалась. Врачиха была молодая, чуть старше девушки в очереди. Она что-то писала; не поднимая головы, кивнула на стул:

— Минутку...

Отложила ручку, подняла на бабушку очки.

— Ну, на что жалуемся?

— Одышка меня беспокоит. Диагноз мне поставили— и... ми... ИБС, в общем.

Врачиха улыбнулась:

— Ишемическая болезнь, понятно. В вашем возрасте не редкость.

— А я думаю: не астма ли? Больно уж дышать тяжело.

Врачиха снова улыбнулась:

— Ставить сами себе диагноз мы все мастера. Ну что ж, давайте карточку, будем смотреть, чем вас лечили.

— Так не взяла я карточку.

Глаза за очками удивились:

— Как так? Ну а как же я могу знать, что с вами делать? Я здесь недавно, вас не лечила, вы для меня— новый пациент. Что ж вы карточку-то не взяли? Как без неё?

— Так я же говорю: одышка, если вниз сойду— уже не поднимусь обратно...

Врачиха сняла очки, протёрла их, постучала задумчиво очками по столу. Решительно встала.

— Ладно, ждите, я сейчас,— и вышла.

Девушка заглянула в кабинет:

— Бабуля, куда это она? Я ж так на работу из-за вас опоздаю.

Бабушка пожалла плечами, виновато улыбнулась: — Ничего не сказала, вышла— и всё.

Минут через пять врачиха вернулась. Очки смотрели теперь строго, почти неприязненно.

— Нет вашей карточки в регистратуре,— сказала она, и в тоне её слышалось открытое осуждение.— Что ж вы мне голову морочите? Я и на прежней работе с этим сталкивалась, и здесь уже.

Вот так возьмут карточку, унесут домой, а потом приходят— и мы, как ищейки, бегаем по всей поликлинике, следы отыскиваем. Если уж домой унесли— что ж не взяли с собой-то?

— Не брала я карточку,— пыталась оправдываться бабушка,— я и была-то здесь не помню когда последний раз.

Вдруг сообразила:

— Может, внучка взяла, да мне забыла сказать?

— Зачем же внучке ваша карточка?— снова удивилась врачиха.

— Ну, проконсультироваться с кем хотела, может. У неё знакомые врачи есть, а в карточке— выписка с диагнозом, лекарства...

Участковая смотрела на неё уже почти с ненавистью.

— Ну вот что. Без карточки я с вами говорить не могу, я даже слушать вас сейчас не стану,— она кивнула на фонендоскоп,— вы всё чужое время уже на себя забрали. Найдёте карточку— приходите, будем думать, что делать с вашей... одышкой,— и вдруг спросила: — Скажите, а сколько лет вам?

Бабушка замялась— она никак не могла запомнить свой возраст накрепко, каждый раз считала от рождения.

— Семьдесят семь, получается...

Врачиха наклонилась к ней всем корпусом:

— Так что же вы хотели?

Бабушка уже открыла рот, чтобы ответить: мол, лекарство хотела такое, чтобы помогало,— взглянула в очки— и вдруг поняла смысл вопроса. Встала, опираясь на палку, пошла к двери. Удвери оглянулась:

— И правда, что я хочу? Когда же и быть одышке, как не теперь?

И добавила, уже открывая дверь кабинета:

— Пожить вот ещё малость хотела. Но раз без карточки нельзя, что ж...

Домой она шла быстрее— и под горку было, и торопилась, думала: придёт, позвонит внучке на работу, попеняет: что ж не сказала, что карточка у неё? Она бы и с дороги позвонила— вот беда: сотовый телефон ей внучка подарила, а пользоваться им она так и не научилась. Тыкала бестолково по кнопкам— попадала куда не надо. Ладно, позвонит из дома. И спохватилась: она ведь и сама внучку не предупредила, что к врачу собирается, не хотела беспокоить. Чего уж пенять...

Дома, отдышавшись у порога, прошла к себе. На телефонном аппарате красным мигал автоответчик— значит, пока её не было, кто-то звонил домой и оставил сообщение. Как послушать автоответчик, она помнила. Бабушка нажала нужную кнопку, стала слушать: «Это с поликлиники звонят, с регистратуры. Я извиняюсь, мы нашли вашу карточку, она не в той ячейке лежала. Вернитесь в поликлинику, доктор вас ждёт, она принимает до...»

Бабушка всхлинула, но плакать не стала. Посидела молча. Потом сама себе пошевелила губами: — Вот как... Нашли, значит, карточку... А я-то думала— внучка взяла, а мне не сказала...

## Меч карающий

*Конспект одной жизни*

1.

В детстве он тонул. Да кто не тонул в детстве? В речном затоне формировали плоты, потом

их тащили по реке буксиры в неведомую даль. Брёвна для плотов — лиственница ли, сосна мачтовая, он не знал, — свободно плавали у берега, оцепленные, чтобы не унесло течением. Целое поле. По древесному полю можно было бегать, имея сноровку: мокрые брёвна крутились в воде, и надо было успеть перепрыгнуть на другое, прежде чем бревно под тобой повернётся мокрым боком. Он не успел и провалился между. Бревно под руками крутилось, удержать его было невозможно, и он тонул. Плавать не умел. Обиднее всего, что всё происходило в трёх метрах от берега. Напуганные друзья-пацаны бегали у кромок воды и кричали: «Тонет!» Спас его соседкин квартирант. В два прыжка перемахнул расстояние, отделявшее от берега, схватил под мышки, швырнул на траву. Глянул в выпученные глаза — и вlepил подзатыльник, от которого он на секунду ослеп.

— По гроб жизни должен будешь мне, пацан! — сказал спаситель и ушёл, матерясь.

Благодарность за спасение смешалась с чувством безотчётной неприязни. Выходит, тот его в долг спас. А долг — то, что рано или поздно придётся возвращать. По малости лет он, конечно, не мог так думать. Думал потом, когда вспоминал. Брёвна ещё долго крутились перед глазами, готовясь накрыть его навсегда. И затылок ныл, вспоминая подзатыльник.

Этот квартирант, снимавший у бабки-соседки угол, был студент техникума. Станный человек. Однажды бабка застала его лежащим головой на пороге — глаза закрыты, язык вывален, пена. Эпилептический припадок. Бабка с перепугу села на пол и заплакала. Он открыл глаза, спрятал язык, вытер пену:

— Чего плачешь, старая? Не плакать — скорую вызывать надо. Репетиция это была. В следующий раз за врачом беги.

Она не поняла ничего. Стала относиться к квартиранту с боязнью. Но гнать не торопилась: ждала обещанных денег. Он задолжал, клялся уплатить вдвое:

— Работа у меня тут наклёвывается денежная, заживём! Долг отдам и ещё сверху посеребряю!

Она и ждала. А его посадили.

Когда милиция приехала, завывала сиреной, он снова упал на порог, спросил:

— Помнишь, что говорил? За врачом беги, не то... — и погрозил волосатым кулаком.

Вывалил язык, пустил пену, закрыл глаза, задышал припадочно. Бабка милиционеров встретила, икая от страха. Молча показала на припадочного. Старший подошёл к телу, отвернул веки. Пнул несильно в ребро:

— Вставай, эпилептик сраный! Не знаешь даже, что при припадке глаза закатываются. Сестра у меня болезнью этой болеет. Нашёл кого дурить.

Квартирант перестал придуриваться, дал надеть на себя наручники. Бабка схватила его за рукав: — А деньги?

Тот криво усмехнулся, кивнул на милиционеров: — У них теперь проси, старая. А за меня свечку поставь, если умеешь.

Тут же провели обыск. В середине толстой книги «История Коммунистической партии Советского Союза» страницы были причудливо вырезаны. Контур напоминал пистолет. Пистолет в эту нишу и помещался. Только теперь его не было.

— Твоё оружие? — негромко спросил старший, вынимая из сумки целлофановый пакет с чёрным предметом.

На арестованного он не глядел. Тот снова усмехнулся, не ответил. Старший так же не глядя и, кажется, несильно ткнул предметом в живот — студент охнул, согнулся, двое других в форме его подхватили. Старший махнул рукой — парня увели в машину.

Перепуганную бабку ни о чём спрашивать не стали. Зато она насмелилась, спросила: что натворил-то? Милиционер посмотрел на неё внимательно, вдруг снял фуражку, сел: — А расскажу, пожалуй.

Студент с двумя такими же, как он, совершил вооружённое ограбление. Это по науке. На деле же они остановили на дороге ехавшего с фермы тракториста, думали — он с зарплатой. Грозя самодельным пистолетом, согнали с трактора. Мужик оказался с норовом, как-то исхитрился прихватить из кабины монтировку, выбил пистолет, стал охаживать ближайшего. Двое других, однако, подмяли его, оглушили, вывернули карманы. Денег у тракториста оказалось — пятнадцать копеек, и те одной монетой. От вскипевшей злости и нахлынувшего страха тройца изуродовала мужика его же монтировкой до полусмерти и скрылась, забыв пистолет. В больнице тракторист умер.

Бабка охала: вот кого приютила, вот какая работа денежная у него «наклёвывалась»... И некстати вспомнила:

— Он тут недавно мальчонку соседского из речки спас: тонул...

Старший покривился:

— Может, зачтётся ему... на том свете.

## 2.

В одиннадцать лет его чуть не зажалили до смерти пчёлы. Родители расходились, порознь оба переехали из Сибири в Нечерноземье, здесь сошлись опять. Лето в этих краях — жаркое, сухое. Знойным днём забрёл на совхозную пасеку. Были на нём одни трикотажные штаны, закатанные по колено. Пчёлы возмущённо погалдели — и обрушились на лоснящийся потом торс. Сперва он от них отмахивался, потом побежал в панике, а после уже ничего почти не чувствовал, только выл и катался

в овсе, теряя силы. Спасли его командированные на уборочную городские водители. Кто-то увидел издали, сначала не понял, чего это пацан так мечется, а догадавшись, погнал грузовик на всей скорости, схватил мальчика, забросил в кузов — и снова по газам. Привёз сразу в медпункт. Из кузова его вынесли, самому спуститься не было сил. Тело билось, как под током. Ни говорить, ни соображать он не мог, только всхлипывал без слёз. Прихрамывающий отец, заведовавший медпунктом, подхватил на руки, уложил на кушетку. Вызвали скорую из района, та приехала быстро. Его увезли в больницу. Три дня полоскало непрерывно, только успевали тазики оттаскивать. Во рту стоял противный вкус пчелиного яда. На одной руке отец выдернул пятьдесят шесть пчелиных жал. Дальше считать не стал. Получалось, что ради его гибели своих жизней не пожалели сотни три полосатых тружениц.

Навестить приехал водитель того грузовика — с опухшей и перекошенной физиономией, заплаканным глазом. Пяток пчёл подарили свои жала и спасителю. Сам же пострадавший не опух ничуть. Врачи качали головами: «Феномен! Теперь никакой ревматизм не страшен!»

Бездетный водитель, не зная, чем утешить спящего подростка, привёз баночку мёда. Пчелиного. Он увидел — и заплакал. Тот смешался, ушёл, кляня себя.

Долго потом ещё, наказанный пчёлами, не мог он видеть мёд, переносить его запах. Не мог ходить на колонку за водой: к ней всегда летом слетались на водопой не пчёлы, так осы.

А пасека скоро сгорела. В валках на поле загорелся хлеб, огонь мгновенно добрался до ульев, и через пару часов от пасеки остались дымящиеся головешки. Пасечник, который каждому улью дал «семейную» фамилию, а с пчёлами четверть века общался без дымокура и защитной сетки, слёг от горя.

3.

Через год он подхватил стригущий лишай. Купались в пруду, где пастухи поили коров. Больше в тех краях купаться было негде. Коровы и занесли заразу в воду. Перед школой, накануне первого сентября, родители отправили его в район стричься. Парикмахерша, только успев запустить машинку в отросшую за лето шевелюру, охнула:

— Господи! У тебя же вся голова в лишае! Что ж мне с машинкой-то теперь делать? Её же стерилизовать придётся!

Ещё похав, она всё-таки достригла его и сказала:

— Дуй домой скорее, скажи родителям — пусть в больницу тебя везут!

Он, по малолетству и лёгкости восприятия жизни, ничего не понял. Приехал домой на попутке —

шофёр всю дорогу косился на его пятнистую голову. На высоком, выше взрослого роста, крыльце стоял отец. Глянул на него сверху, посерел лицом. Вынес из дома берет, строго приказал не снимать ни в каком случае. Наутро повёз за сто километров в специальную больницу, где лечили кожные болезни.

Больница была детской. Мест не хватало, и в переполненных палатах спали иногда по два человека на кровати. Мимо процедурного кабинета старались лишней раз не проходить: оттуда всё время слышались детские крики и плач. Там рвали волосы. Сначала голову намазывали вонючей чёрной мазью, бинтовали, корни волос от мази размягчались, потом юного пациента сажали на низкий табурет, сестра или медбрат накрепко зажимали голову меж своих колен — и пинцетом выдёргивали волосы. Процедура варварская, но, объясняли детям, необходимая. Иначе стригущий лишай не вылечить.

Постоянная боль, вонь от мази, духота и смрад в палатах вызывали у детей раздражение и злость. Те, что повзрослее, нередко дрались между собой, а если не было повода подраться — издевались над мелкими. Все дети были лысыми, носили перепачканные мазью панамы, и в общем туалете, не делившись на «мальчиковый» и «девочкин», нелегко было различить, кто сидит орлом на толчке — мальчик или девочка.

Больница была далеко, и мать сумела приехать только раз. Увидела — ужаснулась. Она сама работала медсестрой и понимала, что в таких условиях его не только не вылечат как следует, а снабдят чем-нибудь похуже: разновидностей этой кожной болезни очень много. Несмотря на расстояние, она через два дня приехала снова, привезла одежду, тайно передела его в палате, вывела за ворота — и вернулась в больницу требовать выписку. Главврач долго сопротивлялся, боясь ответственности, в конце концов плюнул, приказал выдать выписку, а наедине неожиданно сказал:

— Вы правильно сделали. Мы его здесь залечим. Вся жизнь потом мучиться будет.

Отец ходил в школу, договорился с директором, что ему разрешат сидеть на уроках, не снимая берета. Аргумент прозвучал убедительно: его изуродованная голова напугает кого угодно. Директор отдал устное распоряжение, учителя провели беседы с учениками, и скоро его берет перестали замечать.

Все, кроме одного. Тот был старше двумя классами, здоровее физически и при каждом удобном случае, когда рядом не было взрослых, норовил стащить с его головы берет. Издевательски смеялся, приглашая к веселью других. Он плакал от злости и бессилия. Родителям не жаловался: не видел смысла.

Вылечить болячку в больнице успели, но предупредили: волосы, скорее всего, никогда не отрастут.

Отец, прирождённый лекарь, хоть и без высшего образования, что-то покумекал — и раз в неделю стал брить ему голову. Сначала было больно, потом кожа привыкла. После десятого или пятнадцатого бритья волосы вдруг полезли, да такие, каких у него отродясь не было. Курчавые, жёсткие, норовистые. Началась другая мука — каждое утро их расчёсывать. Мелкая расчёска не брала вовсе, но и крупной они слушались неохотно. Зато шевлюра обещала вырасти такая, что на него стали обращать внимание девчонки и даже девушки.

Мучитель-старшеклассник наконец от него отвалился.

А спустя годы его недруга и самого настигла беда. Службу в армии он проходил в Семипалатинске. Во время очередных испытаний случилась авария, воин надышался страшным веществом — гептилом. Он не только облысел за месяц, но заработал туберкулёз, который развивался стремительно. Комиссовать его не успели: умер в госпитале.

4.

Призвали в армию и моего героя. На пересылке, обритый, стоял, ёжился от осеннего холода. «Покупатель»-старлей скомандовал:

— Кто на трубе играл на гражданке — шаг вперёд!

Не думая, сделал шаг. Забрали в музыкальную роту. Позже испугался, подошёл к «покупателю» уже в вагоне, по пути к месту:

— Товарищ старший лейтенант, пошутил я, не играл сроду, только на баяне умею, и то плохо.

Старлей посмотрел весело и нетрезво:

— В армии как? Не можешь — научим, не хочешь — заставим... — развернул, лёгким пинком под зад отправил на место в вагоне. — Иди, музыкант. Радуйся, что не в стройбат.

Пришлось выучиться. Играл на тубе. Во время исполнения гимна выпустил из инструмента неприличный звук. Легко отделался: дали по голове тубой, отправили грести снег на плацу. Мимо проходил полкан. Он отдал командиру честь лопатой. Тот остановился, изумлённый:

— Ты что, солдат? Ты е...нул?

— Так точно, товарищ полковник! — отчеканил, не выпуская лопаты, отдавая честь левой рукой. — Меня тубой е...нули.

— Что?! — взревел полкан.

Прямо с плаца отправился на «губу». Фамилия полковника была Тубо.

На гауптвахте провёл два дня. Дурным голосом орал похабные песни. Предупредили. Не внял. Караул сменился. На второй день зашёл сержант — начальник караула.

— Поёшь?

— Так точно!

— Поплясать не хочешь?

— Никак нет!

— Придётся, — вздохнул сержант и сильно пнул в промежность.

Ударился о стену, сел на задницу, успел сказать: — Лишил наследников, козёл... — и потерял сознание.

Пришёл в себя в госпитале. Промежность распухла так, что вставать не мог. Лечили долго. Пока лечили, узнал: сержанта, что его пнули, судили и отправили в дисбат. Была в разгаре борьба с неуставными взаимоотношениями.

5.

Комиссовали по неспособности к строевой. Вернулся в родной совхоз, стал работать. В память о воинской службе ходил слегка нараскоряку и о потомстве не думал. Скоро остался один, родители ушли друг за другом, оставив ему старый дом с высоким крыльцом. Вся жизнь его теперь была — дом и трактор, в котором души не чаял. Тот ему платил тем же: не ломался, не подводил, позволял ежегодно держать первенство в соревновании, завешивать стену грамотами и вымпелами, получать премии.

Работу свою любил не только за награды и премии, за дополнительные деньги, которые никогда не лишние. Любил, что работал не в бригаде, а по индивидуальным нарядам, мог целую смену не видеть никого, орать от души песни, не боясь никого напугать. Слухом природа обделила. Любил просторы деревенские, поля, колки берёзовые, редкие леса. Жизнь свою любил, которая — он считал — удалась. Праздники встречал всегда один, почти не пил. Только в Новый год — бокал шампанского под речь первого лица, рюмку соседской самогонки — под горячее, и — телевизор. Этого хватало. Одиночество его не тревожило. Он и не думал о том, что одному.

Как-то раз весь день возил силос от силосной ямы на ферму. Подъезжал, разворачивался тележкой, погрузчик нагребал корм, он вёз его к коровникам. Увлёкся и забыл, что сегодня получка, что надо было до конца дня подъехать к кассе за деньгами. Закончил уже почти затемно, махнул рукой: ладно, завтра, куда деньги не денутся. По пути в гараж, в лесочке, через который шла дорога, его остановили трое. Махнули рукой. Он выжал сцепление, остановил трактор: мало ли что, — высунул голову из кабины. Один вскочил на гусеницу, сунул в нос пистолет: — Давай по-тихому: ты нам — деньги, мы тебе — жизнь.

Хотел было сказать: нету денег, не успел получить. Понял: не поверят.

— Ладно, сейчас, вылезу только, тут неудобно. Ты там посвети пока. Я человек мирный, если со мной по-хорошему — что ж не поделиться?

Парень соскочил вниз, достал фонарик, переложил пистолет в левую руку. В это время он сверху

огрел его монтировкой, пистолет выпал, парень схватился за руку.

— Я вам, б...дам, покажу сейчас деньги!— и стал охаживать молодца.

А об остальных забыл...

Его сбили с ног, отобрали монтировку, оглушили, вывернули карманы. В карманах оказались пятнадцать копеек одной монетой.

— У, сука!— зарычал тот, которого он приласкал монтировкой.

Его изуродованное тело нашли утром, рядом с ворчащим трактором. Он был ещё жив.

Умер по пути в больницу.

Карающий меч впервые промахнулся.

## Нехорошо об ушедших

*Из цикла «Рассказы о чудесном»*

Пришёл ко мне знакомый поэт. Без звонка, так,— под окно кабинета подошёл, помахал руками: пусти. Окно высоко, хоть и первый этаж, но он как-то прыгал, прыгал, махал руками, пока я не увидел.

Открыл окно, сказал код домофона.

Зашёл, не поздоровался— кивнул, прошёл в кухню. Закурил, не спрашивая. Огляделся молча: куда пепел? Я ему так же молча блюдце сунул. Жду. Зачем пришёл? Не друзья мы с ним, так— по цеху литературному коллеги, встречаемся иногда на собраниях. Я там, правда, гость нечастый, да и он, кажется, не особенно их уважает, собрания наши годовые-отчётные.

Тем более: зачем пришёл? Надо что-то? Денег занять или как? Если денег, так давно лишних в руках не держал, всё посчитано и распределено. Если «или как», так не выпиваю я, и тоже давно. Не то чтобы не хочу—ещё как хочу, бывает! Но возраст и печень с поджелудочной уже не позволяют. Те, кто меня хоть немного знает, в курсе. Он— из их числа, хоть и не друзья.

И зачем тогда пришёл?

Он долго молчал. И выдал:

— Рассказ перепиши.

Я не понял:

— Какой рассказ? Кому переписать?

Он усмехнулся, стряхнул пепел.

— Не «кому», а заново перепиши. Набело.

Я опять не понял:

— Яснее можно?

Он грустно усмехнулся.

— Ну куда яснее-то? У тебя в рассказе... ты там мою жену дурой назвал... А она умерла. Ещё до того умерла, как ты рассказ свой написал и напечатал. Мы с ней, конечно, последние годы не жили, развелись, застучал я её, и вообще... Но она умерла, понимаешь? Нельзя об ушедшем человеке так говорить: «дура»... — он решительно ткнул бычком в блюдце.— Надо переписать.

Я начал понимать. Сел от него поодаль, как садятся подалше от заразных или психически нездоровых. Сказал осторожно:

— Рассказ— не о тебе и не о твоей жене. Я просто списал портреты для своих героев с тех людей, которые мне показались наиболее соответствующими. Нет в рассказе и не может быть обиды ни твоей жене, ни тебе.

Он снова усмехнулся.

— Ну, говорить-то теперь можно что угодно,— и наклонился ко мне:— Значит, по-твоему, она— наиболее соответствующая определению «дура»?

Глаза его светились недобро, но не сумасшедше. Я видел сумасшедших, у меня есть друг-психиатр, он работает в клинике, показывал мне ненормальных, у которых глаза полны безумства и слюна до пола.

Этот просто меня не любил.

Он спросил медленно:

— Если она, по-твоему, соответствует этому определению, то я, проживший с ней тринадцать лет, какому тогда определению соответствую?

Что он от меня хотел услышать? Ну, что хотел, то и услышал.

Я так же медленно ответил:

— А ты соответствуешь определению «дурак», но не потому, что прожил с ней тринадцать лет, а потому, что пришёл ко мне с дурацкими претензиями,— и резюмировал:— Ничего я переписывать не стану, друг дорогой, ты меня своей софистикой не проймёшь. Мой рассказ— художественный вымысел, фантазия, и ты, как литератор, это хорошо понимаешь, и если у тебя других пожеланий ко мне нет, то... работать мне надо.

Слово «пожеланий» я высказал как можно более внятно, почти по слогам. Так же внятно произнёс слово «работа». И встал.

Встал и он. Он был чуть выше меня и попытался презрительным взглядом смерить меня сверху вниз. Не очень получилось— скорее, карикатура вышла. Ну не шло ему это. Он от этого ещё больше обозлился.

— Ладно. Гонишь— уйду. Но запомни: просто так тебе это не обойдётся.

Я усмехнулся:

— Запомню, постараюсь.

Я захлопнул дверь. В окно видел, как идёт он по улице, что-то цедя под нос, не глядя по сторонам и не оглядываясь на моё окно. Я вытряхнул блюдце с окурком, проветрил квартиру. В семье курящих не было. «Расскажу жене вечером— посмеётся». И пошёл работать. Меня ждала начатая повесть, просили своего участия заброшенные стихи. И я забыл о происшествии, не рассказал о нём вечером жене.

Ночью, под утро уже, меня взяло странное беспокойство— такое, от которого просыпаются. Как будто ветер внезапный поднялся на улице,

или гром грохнул вдалеке, или... не знаю—что ещё. Я открыл глаза. Во рту было сухо. Кружка на тумбочке оказалась тоже сухой. Я встал, пошёл на кухню. Болела голова, и вообще в организме происходило что-то постороннее—так бывало раньше, когда я крепко выпивал вечерами и потом от полуночи до утра мучился, то хватаясь за стакан с водой, то стремясь вынести на улицу своё паническое недомогание. На кухне не стал зажигать верхний свет, включил крошечную подсветку над раковиной, налил воды из-под крана, выпил. Не очень полегчало, но стало отпускать. Вода—великое дело. Вздохнул, налил ещё, поднял стакан—и в стекле увидел какое-то движение. Жена встала? Обернулся—и чуть не выронил стакан. На стуле, где утром курил поэт, сидела его жена. Ладно бы—просто сидела: она была в ночнушке! Я отродясь её в ночнушке не видел. И вообще-то встречался с ней раза три при жизни, и всякий раз хотелось отделаться, как от назойливого насекомого или приставучей породистой и невоспитанной псины. Зудела, зудела... Дура она была, и ничем это переделать нельзя, никакими словами не переписать. Последний раз видел её на похоронах, пришёл туда из чувства цеховой солидарности и ко гробу не подходил, только цветы поставил и ушёл сразу.

И вот—она, сидит, курит, смотрит на меня зелёными глазами, ночнушку поправляет. Ну не может же такого быть! Если и приходят покойники, так курить они всё равно не должны! Я тряхнул головой. Она засмеялась тихо:

— Да не трясги головой, не поможет! Не приснилась я тебе. Дай лучше пепельницу или блюдце, сорить не хочу.

Я дал блюдце. Она стряхнула пепел, затынулась снова.

— Я вот чего пришла. Ты рассказ перепиши.

Я только заметил: стакан по-прежнему был у меня в руках, вода в нём мелко дрожала. Я поставил стакан, стал понемногу успокаиваться.

— Какой рассказ?—спросил тихо—жена спала.

Не вышла из спальни и кошка. И не спряталась: говорят, кошки потустороннее чувствуют, боятся его, прячутся. Эта же—нет, так и лежала у жены в ногах, свернувшись.

— Тот рассказ, что ты сейчас сочиняешь,—так же тихо и спокойно сказала она.—Ты там моего мужа дураком назвал—неправильно это. Перепиши.

Я, кажется, совсем успокоился. Сны случаются и такие вот—объёмные, в тактильных ощущениях. — Я не сочиняю никакого рассказа. Мужа твоего видел сегодня, мы о тебе говорили, о рассказе. Я ему всё объяснил. Что тебе-то нужно ещё?

Она вздохнула, погасила окурочек—движением точь-в-точь как у него. Встала—ночнушка

приподнялась, как от ветра, хотя никакого ветра в кухне и вообще в квартире не было. Мелькнули голые, спелые, совсем не покойницкие бёдра, на мгновение розовым подмигнула грудь—она её тут же спрятала. Вздохнула.

— Не понял ты... Что же, как знаешь. Только нехорошо об ушедшем так говорить: «дурак»... Прощай.

Исчезла, будто не было.

Я сел. Допил воду, тряхнул головой. Блюдце с окурком реально стояло на столе. Я потрогал стул, на котором она сидела. Стул отдавал теплом. Больше ничего реального не было. Запаха дыма не осталось.

Я не могу долго хранить в себе даже самые сильные впечатления. Выкинул окурочек, вымыл блюдце, пошел спать. И уснул ведь!

Утром жена смотрела на меня подозрительно. — Странный запах на кухне. Ты не курил, случайно?

Я посмотрел на неё изумлённо:

— Сдурела? Двадцать лет уж как бросил или больше. И курева-то дома нет, ты же знаешь.

— Странно. От соседей, что ли? Или из подъезда?

Я проводил её на работу, поцеловал в щёчку. Утренние наши расставания нравились мне своей... незамутнёностью, что ли, в них была искренность, которой уже не содержат вечерние встречи, когда, измученная офисом и клиентами, она приходит домой или когда я встречаю её у крыльца офиса и мы оба бредём не спеша, рассказывая друг другу о событиях минувшего дня. Рассказываем от души, но уже слегка уставшие, покрытые плёнкой дневных забот, суеты, чужого присутствия и вмешательства.

Утром—другое дело. Мы—это мы, и никого больше.

И вот я её проводил, вернулся в зал, сделал зарядку, стал на кухне готовить завтрак.

Телефон зазвонил обычным своим голосом, хотя мне показалось—вызывающе.

— Привет! Ну что, ты идёшь?—голос друга-литератора был деловым, как будто мы уже обсуждали что-то и предварительно о чём-то условились.

— Куда?

— Ну на прощанье.

Я ничего не понял.

— Какое прощанье? С кем?

Пауза.

— Я ж тебе вчера сообщение отправлял—не пришло? Поэт умер. Позавчера ещё, ночью. Сегодня прощаемся. В одиннадцать, в зале, где всегда последнее время...

Комната поплыла. Вот, значит, как. Кто же ко мне приходил вчера утром?

Ночью—знаю кто.

А утром-то—кто?